

Алексей АКИШИН

*с. Павино,**Костромская область*

Старое зеркало в рамке резной

Густые высокие заросли крапивы грозной стеной окружали старый деревенский клуб со всех четырех сторон. Ее остроконечные макушки, будто шлемы стражников, высились непролазной стеной.

Я стою на дороге напротив. На ней ни следочка — ни машинного, ни людского. Она затянута плотным пологом разномастной, набравшей и цвет, и силу травы. По краям ее — две цепочки березок и размашистых ивовых кустов, словно погоняемые кем-то и дружным строем удаляющиеся к стоящему особняком большому говорливому лесу. И только они да не замытые еще полями водами и не стертые временем канавы выдавали: здесь когда-то проходила дорога...

Отсюда клуб был похож на столетнюю, но еще ядреную и очень добрую, ласковую старушку. Он не скособенился, не выгнулся немощным калеккой в три погибели, а только набекренился к дороге, будто покладисто отвешивая всем появляющимся под его окнами низкий поклон. Но на проходящих мимо редких путников — охотников и грибников — уже смотрел не ясными, с блеском от глаз-стекел, а пустыми впальми глазницами. Переpletов в рамах и тех не было... Без присмотра и ухода людского иструхли, выпали. Водно из окон, словно на беседки к подружке, заглянула черемуха и кому-то невидимому протягивала там гроздь сочных спеющих ягод.

Сжимаю руки в кулаки, натягиваю на них рукава ветровки, пробую пробиться сквозь этот безжалостный тесный строй зеленых стражников и зайти внутрь, нырнуть туда, будто в омут далекого прошлого. Раздвигая осторожно и боязливо плотный крапивный занавес, медленно продвигаюсь к надежно спрятавшемуся в зелени парадному крыльцу.

Рассказы из повести

ОСКОЛКИ



Под ногами хрустнули и осели под их тяжестью обветшавшие за годы ненужности людям и травяного полена когда-то крепкие и нескрипучие половицы. Поднимаюсь выше по краешку лестницы, где переводы, как под надежную крышею, уберегались от дождей и тающих по весне снегов и не сопрели, сохранили свою былую прочность. Двери клуба распахнуты настезь, словно они уже кого-то проходящего поблизости зазывали в гости, но, не дождавшись, так и остались раскрытыми: авось да кто другой не обойдет стороной, заметит это немое гостеприимство. Видать, не увидели, не заметили... Или из робкого десятка путники оказывались, крапивы побоялись да ржавых гвоздей, наступить на которые здесь совсем не мудрено...

На порог пришлось взбираться, как неумелый наездник на давно объезженную лошадь, тихую и смирную, не пытающуюся ускользнуть и освободиться от наседаящего на нее груза. Взгромождаюсь, как верховой, на порог, а спускаться на пол — поджилки трясутся. Половицы, плотно сбитые воедино на сухих березовых шкантах, не распались, не растались друг с другом, а, наоборот, скипелись, слились в единый неразрывный монолит. Даже печь на толстых краях-сваях не устояла, рухнула пьяным вдрабадан мужиком и рассыпалась на отдельные кирпичи, но не нарушила устоявшееся единство старых половиц, а лишь напористо одавила, опустила их на ряд-другой вместе с переводами, вырвавшимися из насиженных гнезд.

Но, не снимая рук с обмозоленного сотнями, тысячами каблучков и каблукочков до отшлифованных округлостей, осторожно сползаю по бревенчатой, по запыленной и окутанной плотной пеленой паутины стене. Половицы не только не сели, но даже и не дрогнули. Медленно поднимаюсь вверх, обходя стороной покоящуюся вперемешку с рассыпавшимся раствором гору кирпичей — прокопченных, с остатками слоя побелки. Некоторые из них будто новые — оскобли от раствора и сажи и хоть новую кладку начинай, другие раскололись на половинки, раскрошились в щебень. Оглядываюсь. Позади на крашеном полу коричневым лаковым цветом отливались мои отчетливые следы. И вот я на вершине

этого склона, у окна, у которого ни стекол, ни переплетов. В этот оконный проем, будто любопытная бабка, и заглядывала черемуха. Поднимаю ее сучкастую пышную ветку над головой... Робко присматриваюсь. На стене среди полуоборванных обоев, окутанных сетями тенет, и давних-предавних пожелтевших газет должно висеть оно, старое зеркало в рамке резной...

Оно в былые времена магнитом притягивало к себе всех, кто заходил на огонек клуба. По вечерам, пока зал еще не содрогался от забивающей все голоса музыки, девки толпились и толкались перед ним, прихорашивались, сыскаса поглядывая на скучившихся в сторонке парней. Но и те не чурались посмотреть на себя со стороны, поправить перед зеркалом чубы, оценить, как сидит на плечах новый пиджак или рубаха... А перед киносеансом мимо него не проходили и малышня, и старики. Больше всех любил крутиться Ванька Жаворонский. У него, как говорили в деревне, не все дома были. И здесь, у зеркала, он весь вывертывался наизнанку. Строил гримасы, прыгал перед ним молодым козленком, то вдруг хмурился, насупонивался, сдвигая белые густые брови почти до самых глаз, то скалился, заливался звонким по-детски смехом. Гас в клубе свет, луч кинопроектора ярким прожектором уже резал темноту зала, а Ванька все еще юрким волчком вертелся у зеркала... Кто-то из мужиков соскакивал с места и, наклоня голову, чтобы не заслонять экран, подбегал к увлекшемуся зеркалом чудику, сгребал его за ворот... Ванька не противился, показывал напоследок зеркалу язык и покорно усаживался на первое попавшее свободное место...

Я шарил глазами по стене, надеясь все-таки отыскать в мохнатом налете пыли, копоти и паутин это самое зеркало — зеркало, которое на своем веку видело многое: и первые робкие поцелуи, и выплясывающих в кругу раскрасневшихся деревенских девах и чубастых скалящихся парней, и бабку Лукерью, которая, стоя перед ним, смотрела все время вниз — на свои лаковые резиновые туфли, а еще по сторонам — не глазают ли на нее с завистью другие бабы и молодухи, созерцала и другое — что-то очень сокровенное, значимое.

Озираюсь по сторонам — нет ли какой тряпицы? Хотя искать какую-то ветошь или одежду-рвань в бывшем деревенском клубе было бы занятием наивным и безнадежным, но ведь нашел! На одном из окон на мохнатой шпагатине свисала чуть ли не до самого пола выцветшая и ставшая похожей на замшу однотонного мышинового цвета занавесь. Бечевка, держащая ее на весу многие уже лета и зимы, изопрела донельзя: толь дотронулся до занавеси — этого иссеченного временем пыльного мешка, она оборвалась. Густым белым туманом поднялась до самого подоконника пылица и, перекатываясь через него, потянулась наружу. Подождав, когда эта матовая пелена просветлеет, с какой-то долей брезгливости беру полегчавшую занавесь и стряхиваю остатки пыли под окно. Крапива и цветущий, отдающий ароматом свежего меда кипрей сначала скрылись будто в густом утреннем тумане, а когда он рассеялся, стали неузнаваемо белыми...

Обтираю безукоризненно ровную поверхность, и вот оно — старое зеркало в резной рамке! Оно словно открыло свои глаза — светлые-светлые, от которых, кажется, в этом осиротевшем клубе вновь поселилась жизнь. Большое, в рыжих разводах пятно, словно бельмо в них, сохранилось или даже, может, чуть стало больше. Но если раньше эта метка времени на зеркале раздражала смотрящихся, то теперь она казалась какой-то дорогой и милой. Без него это зеркало было бы уже не тем, а каким-то чужим, холодящим.

Смахнув с подоконника вездесущую пыль и сухие, наверное, прошлогодние или даже более давние почерневшие листья, присаживаюсь. На мои плечи, будто по-дружески обнимая, легла пышная ветка черемухи. Она словно показывала и мне, и вновь ожившему зеркалу свои нынешние плоды — гроздья налившихся и ставших уже ей в тягость крупных, словно вороний глаз, ягод. Так и сидим, будто обнявшись, — я и черемуха, смотримся и видим каждый свое отражение и думаем — если такое дано дереву — каждый о своем...

А оно, как живое, очнулось после длительной спячки и светлым радостным взглядом

смотрит на нас и тоже вспоминает свое прошлое. Ведь когда-то оно видело многих и многое. Я задумчиво смотрю на него и не вижу ничего. Предо мной словно не зеркало, а какой-то экран, на котором черно-белым документальным фильмом проплывают картины давно минувших дней. Одни мелькают, как птицы, другие, будто в замедленной съемке — плывут плавно и медленно-медленно...

Картошку сажали

«Бом! Бом! Бом!» — на всю деревню разнеслось спозаранку. Но никто не встревожился, не бросился к окнам — уж не пожар ли где занялся? Все знали, что это бригадир молотит пальцем от тракторного трака по старому лемеху плуга, привязанного проволокой на углу старого амбара, — всех к себе зовет: картошку сажать пора! И сигнала этого и стар и мал ждали со дня на день. Дождались!

Первым к амбару прибежал Игнаха:

— Ну, наконец-то! А то, наверное, все везде уже посадили, одни мы волюнку тянем!

— Успеем! Земля — сегодня проверять — еще не ахти подошла: холодной была, — ответил на замечание бригадир. — Картошке ведь чего, днем раньше, днем позже — разницы никакой! Тепло было бы... — и снова загремел железом по железу.

— Все тем же способом проверяешь? — усмехнулся Игнаха и добавил громко: — Да не стучи ты! Все уже, должно быть, слышали! Сейчас мигом народ сбежится! Чего, снова портки скидывал?

— Скидывал! Зазорного и постыдного в этом ничего нету, — перестал стучать Алексей Прохорович. — Способ старинный, веками проверенный — вскопаешь клочок земли, сядешь на нее голым местом, и все сразу ясно: сажать картошку или повременить с нею... Я же каждый год так делаю и не промахиваюсь. А у тебя все готово?

— А то как же! — гордо заявил Игнаха. — У меня эти номерочки еще с прошлогодней весны хранятся. Из фанерки старой навypiливал, все одинаковые — комар носа не подточит! А фуражка — вот она! Всегда на голове!

Геннадий Прокопьевич издали дал знать о себе — на ходу от самого дома на гармошке наяривал. Василий Боббль быстрым шагом к амбару засеменял. Настасья Прокопьевна, широко размахивая руками, семеняла со своим городским племянником, который лениво плелся позади ее. Подтягивались на звон набата другие. Набежали, стрекоча сороками, мальчишки. У них верховодил сын бригадира Никитка, игру в догонялки затеяли, с умом и гиканьем носились вокруг толпы баб и мужиков.

— Все пришли? — озирая толпу, зычно спросил бригадир.

— Все! Все, кроме Натальи Архиповны, — ответил кто-то из женщин.

— Тогда сегодня начинаем! — продолжил Алексей Прохорович. — У первой, как обычно, управляем огород у Архиповны — человек без ноги, самой ничего не сделать с картошкой. Посадим, чтоб у ней на душе спокой был. А потом, — показал он на Игнаху, — все в его руках! Какой номерок кто вытащит... Давай начинай, колдуй!

Игнаха, широко расставив ноги, встал перед всеми, бросил в фуражку фанерные квадратики, перетряс их и скомандовал:

— Подходи по одному!

— Второй! — выкрикнула Настасья Прокопьевна и повернулась к племяннику: — Это значит, у нас у вторых садить будут! Сегодня, стало быть, сделаем...

Николай Седой хмуро глянул на свою жену, которая уже робко подходила к Игнахе:

— Не суйся! — прикрикнул он на Таисью. — Сам вытащу! У тебя рука тяжелая, невезучая, — и смело шагнул вперед.

Он, прежде чем запустить свою пятерню в Игнахину фуражку, несколько раз крутанул в воздухе рукою, зажмурился и без ошупи вытащил первый попавший квадратик. Постоял несколько мгновений с закрытыми глазами, потом поднял веки и бросил радостно:

— Первый! Ну что я говорил! — зыркнул он на жену. — Тебе бы, пахорукой, как пить дать, последний попал. А тут — первый самый!

Игнаха по неписаному деревенскому правилу сам в свою фуражку заглядывал последним. Да можно было и не делать этого — он уже знал, какие номера уже вытащены и какой там остал-

ся. На этот раз ему не повезло — ему и номер выпал самый последний — девятый! Но он не отчаивался, знал, что, хоть там дожди заладят, хоть камни с неба полетят, без картошки не останетса, все равно с такой дружной ватагой посадит, пашня пустовать не будет. А тут еще и Василий Боббль подошел, в сторонку отводит:

— Бери мой номерок! Мне спешить некуда, картошки сажу всего ничего — на грядке чуть больше твоей фуражки места занимает. Успейтса... Не семья же — не к спеху.

Игнаха помежевался, плечами пожал, а потом, чтобы обмен такой ни для кого неожиданностью или тайной не был, громко объявил:

— Мы с Василием очередью сменялись! Теперь у меня у четвертого в огороде порхаться будем. А у него весенне-посадочную кампанию завершать будем! Стол у него соберем всем кагулом! Слышали?

Кто-то подтвердил голосом, кто-то кивком головы, разница, мол, какая — первому или девятому, лишь бы посадить — главную весеннюю заботу с плеч снять. Все теперь плотным кольцом окружили бригадира. Алексей Прохорович, как в бригаде колхозной, наряды на день всем раздавал.

Геннадий Прокопьевич гармошку на амбарное крылечко поставил и вместе с конюхом на конюшню побежал — лошадей в телегу-однооску да в плуг запрягать...

— На телеге поедете — к моему не забудьте! — прокричала им вслед Пелагея. — Просился неслестно! Надо было ни к поре, ни ко времени ногу себе нарушить. Говорит, хоть и с костылем, хочу вместе со всеми. Хоть, мол, и помощи от меня кот наплакал, да хоть в гармошку поиграю. И мне радость, и работа веселее...

— Я за дедом Фролом заеду! — прозвенел Никитка. — Я же сегодня на лошади ездить буду!

— Нет, я хочу на тележке навоз развозить! — пропищала старшая Игнахина внучка, которая на выходные выпросилась у родителей в гости в деревню.

— Ага! — крикнул ей Никитка. — Раскатала губешки! Ты в прошлом году как барыня возила! Очередь не твоя! Да и вообще, — по-взрослому серьезно заявил он, — не девчачье это дело наверхней ездить...

По деревне вновь раздался раскатистый звон лемеха: собрание закончено — пора за дело браться. Толпа у амбара рассеялась. Кто-то убежал на конюшню, остальные ватагой потянулись к одиноко стоящей на краю деревни избе Натальи Архиповны, похожей на домик на курьих ножках: высокая, маленькая. Впереди вальяжно вышагивал Геннадий Прокопьевич. Он будто не на работу шел, а на какую-то деревенскую вечеринку — с гармошкой в руках, извещающая веселыми наигрышами всех — весна настоящая в огороды пришла! За ним тянулись, стараясь не отставать от гармониста, остальные. И только Настасья Прокопьевна со своим гостем-племянником шли чуть поодаль и в сторонке, разговаривали.

Вадим уже в армии отслужил, но, как человек городской и немного избалованный родителями с детской поры, впервые приехал своей тетке помогать картошку сажать. Он шел, не понимая того — огород у Настасьи Прокопьевны дома под окнами, а они куда всей шарагой прутся? И инструмента в руках никакого — руками, что ли, землю рыть будут?

— Иди и не бойся! — подбадривала его тетка. — Сейчас у старушки одной все скопом посадим, а потом и наша очередь — к нам в огород все нагрянут. Толпой — оно же быстрее, а главное — веселее и устали никакой! Дня три так вот по деревне пробегаем, если не затянемся, не задожжовеет, а потом до окучки лежи да в потолок поплеывай. А окучивать — дело плевое! Конюх наш этим делом занимается — по всем огородам с окучником по бороздам проезжает... Коней жалеет, никому не доверяет! А нам и лучше не надо! Посмотришь жизнь нашу деревенскую — по нраву придется, может...

— Тетя Настя! — взмолился Вадим. — Да ты чего! Калачом к вам в деревню не заманишь! В земле да в навозе жуком ковыряться? Да не по мне это...

— А чего бы и такого! — не отставала от него Настасья Прокопьевна. — Квартирку бы дали, невесту бы нашли тебе деревенскую, огородик бы, сад — все под окном. Пчелок бы завел, как Фрол Фомич... Живи, катайся как сыр в масле!

— Ладно, поживем-увидим! — понимая, что от тети по-иному не отбрыкаться, туманно от-

ветил племянник. — Какие мои годы! Но пока желания особого не испытываю...

Наталья Архиповна уже поджидала своих гостей-помощников. Она грузной тумбой сидела на крыльце, опустив вниз до самой земли свою ногу-протез. Хозяйка гостеприимно кивала всем и как-то стыдливо и виновато сокрушалась:

— Что это вы повадились? Каждый год с меня начинаете, оставили бы напоследок. У себя бы пока управляли...

— Все в порядке! — осадил ее бригадир. — Как решено, так и будет! Такой-то оравой твой огородик засадить — что пару раз чихнуть! А ты сиди как боярыня и контролируй, чтоб никто из нас ваньку не валял. Картошка на семена где? В подполье?

— Нет! Нет! — обернулась назад Наталья Архиповна и показала на растворенную настезь дверь. — В коридоре вся уже! Верка-продавщица прибежала, хлеб приносила, а заодно и картошки набрала. А Василий, дай бог ему невесту хорошую да пригожую, в тот же вечер из подпола в коридор вынес. Там она, в ящиках...

Василий, услышав похвалу в свой адрес, зарделся, сразу оживился:

— Пойдем со мной, горожанин! — обратился он к Вадиму. — Работа начинается! Бери больше, относи дальше!

Вадим послушно шмыгнул за ним в коридор, где ящик на ящике зеленели ростками семенные клубни.

— Куда относить? — спросил он Василия, подхватывая самый верхний.

— Давай за мной — не ошибешься!

Вдвоем они быстро сносили все ящики с картошкой и расставили их на лужайке подле пашни, а там уже вовсю покрикивал конюх на тужающуюся под плугом лошадь. Та шумно дышала, играла мускулами. Скрипела упряжь, а позади коня и пахаря оставалась ровная темная, не обсушенная еще на солнце борозда. Все сидели на лужайке с полными ведрами и ждали команды конюха. Он в очередной раз прошелся с плугом из конца в конец огорода и громко гаркнул:

— Налетай! Этот ряд под посадку! Да пошустрее!

Борозда вмиг ожила. Вскочившие с лужайки мигом все оказались в ней, сгорбателись и, звеня ведрами, втыкали в свежую мягкую землю картошину за картошиной. Игнахина внучка, чтобы не отставать от всех, сапоги бабушкины, шумно хлопающие по голяшкам, с ног скинула — осталась босая. Сначала бегала боязливо, стараясь не попадаться на глаза деда, чтобы он не заругался и не вытурил ее с огорода. Но Игнаха глазастый, увидел сразу вертхвостку, но... в штыки на нее не набросился, а наоборот даже — пожурил:

— О, внучка! На босу ногу картошку садишь! Молодец-то какая! По земле босым полезно очень. Мы, помню, — обернулся он к городскому гостю, который уже освоился в огороде и горбатился вместе со всеми, — как только снег сойдет, про всякую обувь забывали — босиком до осени бегали, толь пятки сверкали. И хворь никакая не брала, не привязывалась, ну кроме сапог вороньих... Тех, таить не буду, за лето не по одной паре изнашивали. Одни сойдут, другие уже тут как тут, на подходе...

За огородом проскрипела однооска, послышался басовитый голос Фрола Фомича. Дед, опираясь на костыль, добрался до края пашни и зычно окликнул всех:

— Привет, мужики и бабы! А вот и я! На карете персональной прибыл и с ямщиком удалым!

Он провел взглядом по огороду, отыскивая Геннадия Прокопьевича:

— Ты с гармошкой будто бы? Где она? Раз уж нынче из меня не работник, а вот поиграть поиграю! Дух ваш боевой поднять еще в силах!

— Да она же рядом с тобой! — отозвался Геннадий Прокопьевич. — А ну-ка, Никитка, — крикнул он появляющемуся из-за угла мальчишке, — неси табуретку Фролу Фомичу! Нет, лучше стул — все же навалиться будет куда, так гармонью заправлять легче. Иди в дом, у Натальи Архиповны спроси...

Второй ряд картошки уже садили под любимую песню Фрола Фомича про танкистов. Он сидел на стуле, пальцы его так и бегали по клавишам — сверху вниз, снизу вверх, громко пел — то приникая щекой к мехам гармошки, то откидываясь назад, встряхивая свои густые тем-

ные волосы. Перед ним стояла табуретка, на которой возвышалась похожая на маленький стог свежего сена зеленоватая четверть самогона, окруженная тарелками с разносолой закуской, лежала на боку и граненая стопка без ножки, из которой Наталья Архиповна всегда потчевала своих гостей.

— Удобная посудинка! — говорила она всем. — Из такой и угощать любо-дорого! Ее поставить никак нельзя, опрокидывается. Поэтому и выпивают до дна, главное — в руки подать!

Бабы робко подпевали Фролу Фомичу — кто-то только себе под нос, кто-то погромче. Мужики пока работали немтырями, друг с другом изредка перебрасывались словом-другим. Гармонист уже горло промочил, свою любимую прогорланил, начал другую, но ожидаемой поддержки все еще не было...

— А ну-ка перекур объявляю общий! — командовал Фрол Фомич и отложил гармошку на свежую изумрудящуюся на солнце траву. — Подходи по-одному! Я сегодня наливчий! Работа не бей лежачего! Давай смелее! Кто первый?

Все дружно один за другим выбрались из борозды, окружили гармониста. А тот уже поджидал с выплескивающейся через край стопкой самогона:

— Давай, Василий, держи! С тебя начнем! Но, — моргнул ему гармонист, — теперь ты мое дело продолжай, тамадой, как на свадьбе, будь! У меня производство стоит! А это непорядок! Ребятишек тоже угощай! Архиповна для них пряников да конфет кулек припасла — под табуретом смотри!

Фрол Фомич вновь взял гармошку в руки и заиграл веселую плясовую, глядя то на голубое безоблачное небо, то на ставшую говорливой ватагу соседей. Стопка без ножки, не касаясь стола-табуретки, заходила по кругу, еще гармонист и передыху себе не сделал, она бумерангом вернулась к нему.

— Все, Фомич! Передохни! — остановил его Бобыль. — Очередь твоя подошла!

— Так быстро? — скрестил руки на гармони Фрол Фомич.

— По одной все уж пропустили, сейчас повторим и — за дело! — пояснил Василий, протягивая гармонисту стопку.

— А сам? — уставился на него Фомич.
 — Я уже, — огляделся вокруг Василий, — но еще бы не помешало...

— Дергай! Я повременю, — шлепнул гармонист по гармошке. — А то инструмент еще зафальшивит, слушаться не станет... Освистают бабы, с огорода как пить дать турнут, да и костылем моим же нарядят.

— А ну, — скомандовал бригадир, — по местам!

Он дождался, когда все разбегутся по всему огороду, шлепнул застоявшуюся лошадь ременными вожжами и громко на нее гаркнул:

— Борздой! Прямо!

Из-под лемеха поползла, разваливаясь, черноземина. Зазвенели ведра, бабы и мужики один за другим вставали на след лошади и, не расклоняясь, торопливо шли по борозде, вонзая картошку в мягкую, будто пух, землю. Фрол Фомич, не переставая перебирать планками, разговаривал с присевшей с ним рядом хозяйкой:

— А мы сегодня с тобой два сапога пара! — протянул он и приподнял свою загипсованную ногу. — Хоть сапоги одни на двоих покупай!

— Я-то ладно — у меня отрезали, — согласилась она. — А тебя угораздило ногу сломать — до конца лета ни мужик, ни полмужика из тебя...

— Зарастет! — отмахнулся Фомич. — А остальное — чепуха на постном масле! Чуть чего — мужики плечо подставят, подсобят. Вон видишь, сидим мы, два калеки — тары-бары разводим, а картошка твоя и без нас за милую душу садится. Еще пару рядков — и на другой огород с песнями всей ватагой...

— А мне стыдно даже — люди в моем огороде горбатятся, а я, будто боярыня, восседаю... Эх... — вздохнула она. — Ногу бы мне — разве усидела бы я! Сама бы всю землицу свою руками перерыла...

— Не расстраивайся — всякое бывает. Смотри, — кивнул он на копошащихся в огороде баб, — заканчивают уже! А потом к кому?

— К Настасье, похоже, — глянула вдоль деревни Наталья Архиповна, — мужики там уже на карете твоей навоз развозят... Никитка лошадью управляет. Ты тоже туда пойдешь?

— А то как же! Без меня и работы не будет!

Никитка должен приехать за мной, а то я сам когда доковыляю. Давай-ка для них дуэтом шархнем что-нибудь задушевное, наше деревенское!

...Никитка не проманул: едва бабы закончили посадку и вновь столпились подле стола-табуретки, подлетел на однооске к самой калитке Наталья Архиповна, звонко крикнул:

— Фомич! Машина подана! Садись! — и пояснил торопливо: — Мужикам там скучно навоз разбрасывать!

Мальчишка спрыгнул с лошади, заботливо растряс по всей телеге охапку старого сена, прихваченную им же на конюшне:

— Все! Транспорт готов — и чисто, и мягко! Давай гармонь! Помогу донести!

Фрол Фомич стиснул гармонь, снял руки с планок и скрестил поверх мехов:

— Ну, коли им там без меня тоскливо — поехали! И ты, Архиповна, — обернулся он на одноногую соседку, — тоже поехали! С народом хоть побудешь, а то чего как ломоть отрезанный. Когда теперь всей деревней соберемся — осенью только! Картошку копать... Давай в телегу, и поедем как молодые!

Тут и бабы сороками застрекотали:

— Правильно, Фомич! С собой ее, с собой!

— У вас двоих так хорошо получается!

— Архиповна, картошка посажена! Радовать-ся надо! Айда, айда с нами!

— Вы же там работать будете, — покачала головой и робко заявила Наталья Архиповна, — а я чего? Сидеть и баклуши бить... На вас пялиться? Только душу свою бередить — помочь-то ничем не могу.

Но пригубившие малость бабы захмелели и усталости уже никакой не чувствовали: будто и не бегали по огороду с полными ведрами картошки, не горбились в бороздах. И, когда подошел Никитка и взвалил на свое мальчишечье плечо гармошку Фрола Фомича, осами подлетели к Наталье Архиповне, подхватили ее под руки:

— Давай за ними! Не отставай от кавалера!

— Там посидишь! Со всеми вместе побудешь!

— Наталья Архиповна! Да у тебя же голос такой, как у певицы! Поехали! — не отставала от нее Верка-продавщица, которая не утерпела,

прибежала на помощь из соседней деревни — все равно, мол, магазин открывать: картошку сажат — выручка в лавке будет! — И у тебя скуки не будет, и мы как в клубе на концерте побываем...

Подъехал бригадир, закончивший опахивать закрайки огорода:

— Архиповна! — доложил он. — Все как в аптеке! Вспахано и посажено — комар носа не подточит! А ты не брыкайся, подчиняйся бабам — они дельно говорят! И тебе будет не одиноко, и нам веселее...

Бригадир подошел к столу, крикнул и скормандовал, не успев как следует прожевать:

— Все, девки! Перекур окончен! Трогаем дальше! Сегодня надо огорода четыре обойти, чтобы послезавтра руки с картошкой умыть!

— Посадим! — отозвались бабы. — Такой бригадой горы свернем!

— Да еще с Фомичом да Архиповной!

Никитка хозяйски обошел тележку, проверил, удобно ли уселись его пассажиры, и скинул вожжи с калитки:

— Поехали! — по-взрослому гаркнул он и, будто цирковой акробат, ловко запрыгнул на лошадь, стукнул по ее бокам босыми пятками.

Колеса застучали по дороге. Фрол Фомич подвинулся на самый край телеги, расстегнул гармонь и по-молодецки озорно глянул на свою спутницу. Он встряхнул головой, и его пальцы вновь ожили, забегали по клавишам и кнопкам. Фомич запел переделанную им на ходу, тут же в этой тряской и скрипучей телеге, песню о танкистах.

По деревне, перебивая стукоток колес, поскрипывание гужей, веселый наигрыш и басовитый голос гармониста, разнеслось: «...Два калеки, два веселых друга — на картошку едем мы с тобой!»

Позади телеги сороконожкой, дружной и говорливой ватагой семенили бабы, за ними чуть поодаль шагали Васька-одинокий и городской племянник Настасьи Прокопьевны. Они, видимо, нашли общий язык, о чем-то беспрестанно разговаривали. За ними вел свою лошадь за поводья бригадир. Грохочущий по дороге плуг сверкал на солнце зеркалом лемеха, будто ребенок маленький забав-

лялся, стреляя по сторонам слепящими до боли в глазах солнечными зайчиками. А вдаль, в огороде Настасьи Прокопьевны, стоял Игнаха с другими мужиками. Вилы уже были воткнуты в землю и дружно торчали в сторонке: навоз был развезен и раскидан. На обочине грядок стоял уже старенький кухонный стол, окруженный грубыми нестрогаными скамейками, — Настасья Прокопьевна с племянником с утра подсуетились. Мужики стояли подле него и курили, поджидая приближающуюся ватагу, а больше всего — хозяйку огорода, чтобы хвастливо ей доложить: все, мол, фронт полевых работ подготовлен, принимай, дескать, нам в другой уже надо правиться!

* * *

В то утро Василий встал ни свет ни заря. У всех картошка была уже посажена, и только у него еще даже не копнуто. Вчера допоздна работали, ухамайкались, а потом еще просидели до темноты — пиво, наваренное Настасьей Прокопьевной, всем кагулом пытались уговорить... Но вот уговорили или нет — Василий не помнил. Лагун у нее будто бездонный был — из огорода в огород палочкой эстафетной переметывался и... не пустел. Пиво в ней холодное, хмелем, рожью проросшей, пареной отдает! А пены! Мягкая, бархатистая, шапкой-ушанкой с краев кружки свисает, а кружка-то легкая такая — будто и нет в ней ничего!

На стол что-то собрать — у Василия, как назло, хоть весь дом наизнанку выворачивай: везде шаром покати! Но об этом он даже не беспокоился, вчера на застолье под открытым небом он всем напрямую, как на исповеди, выложил: так, мол, и так, завтра меня не казните! Придете картошку сажать, а у меня и угостить нечем! Денег — ни копейки за душой...

Но на это никто и внимания не обратил:

— Да не томись ты! — отмахнулись бабы. — Знаем мы тебя! Неужто с пустыми руками припрямся? Принесем — много ли нам надо! С миру по нитке — нищему кафтан. Не расстраивайся — придем, поможем! Всем так всем!

— Да ты, Василий, голову не забивай ерун-

дой! Нет так нет, со своим придем! Ты, главное, картошку на посадку приготовь, а остальное — пара пустяков! — рубанул рукою бригадир. — Знаем мы тебя все как облупленного! Рубаха-парень, хоть и чудишь иной раз, но свой, нашенский мужик! Простоват ты, ох как простоват, что иной раз так и хочется ремень взять и отстегать как следует, чтобы простофилей не был... Но не обижайся, — погрозил он Василию пальцем, — что думаю, то и сказал...

А Василий стоял молча, будто пришибленный. Он и сам на трезвую голову понимал, что живет как-то не по-людски, все у него наперекосяк катится. Выдадут на пилораме зарплату — натузит он рюкзак водки, колбасы, консервов разных и — пир у него горой! Мужиков в доме не счесть — на скамейках и стульях мест не хватает — иные стоя по его зарплате его же водкой праздник справляют. День-два погуляют, Василий очухается, оглядится кругом — ни живой, ни мертвой души рядом нет. Все его покинули. В избе — мороз-злыдень. На столе, под столом — посуда грязная, окурками заплеванная, бутылки пустые. В кармане не шуршит, только мелочь и осталась — на пачку сигарет и то хватит ли? То ли всю получку на водку да закуску за один раз выкинул, то ли взаймы кому дал или просто сперли — этого он не знал, как бы ни пытался вспомнить. И начинались у него черные дни, которые неторопливо тянулись до следующей получки, с которой он всегда думал начать жить по-иному. Но не получалось... Перебивался с хлеба на квас, с банкой чинариков и на работу ходил. Но Верка-продавщица — баба жалостливая была — хлеб ему под запись давала, а водки он и сам не просил — боялся, хоть и чужая, но не побоится, глаза выцарапает, кошкой вцепится, а бутылку без денег — и думать нечего! Не даст...

Но накануне посадки картошки, когда хлебная машина по деревне промелькнула, Василий наведалься к Верке в магазин — хлебом хоть заpastись. Она ему две булки черного выложила:

— Хватит?

— Должно хватить!

— А угощать? Может, водки дать? — неожиданно предложила сама.

— Можно? — и, не дожидаясь ответа, выпалил. — Давай парочку пузырей! С получки сразу же отдам! Слово даю!

— Смотри, чтоб никаких собутыльников! — со всей своей строгостью предупредила его продавщица. — Не открывать до поры до времени! Сама приду помогать — проверю. Опроволосишься — и в магазин не заходи больше. Хлеба без денег — и того давать не буду!

Первыми к Василию на помощь нагрянули мужики. Бригадир с лошадьёю и плугом, Игнаха, Геннадий Прокопьевич... Присели поджидать баб в наспех сколоченной хозяином беседке.

Разговорились, вспоминая вчерашний день.

— А у меня, мужики, — не выдержал, похвастал Василий, радостно сверкая глазами, — есть бы чем здоровье поправить, да вот не могу пока... Слово продавщице давал, что до поры до времени к бутылкам не прикоснусь.

— А чего такого тут? — потирая руки от предстоящего удовольствия, бросил Игнаха. — Верка не велик и начальник! Со своим справиться не может, а нас пытается в угол загнать...

— Стоп, стоп, Игнатий! — осадил его бригадир. — Не дело ты говоришь! Раз дал слово — держать надо! А ежели трубы у кого внемоготу горят — подождите Седого. Вот-вот подойти должен, обещал на закрытие сезона первача свежего принести... А вот Фрол Фомич не появится, что-то, говорит, хворь какая-то навалилась. И Никитка не появится — Василий ныне без навоза садить собирается, потому и лошадь вторую запрягать не стали.

— А я сейчас дело исправлю! — прострочил как из пулемета только что подошедший к беседке племянник Настасьи и мигом скрылся за углом.

— Куда это он? — мужики непонимающе посмотрели друг на друга. — И какое это дело и как исправлять надумал?

Но еще Настасьи Прокопьевны гость и не показался из-за калитки, все его задумку поняли сразу: он убежал за магнитофоном. За углом, становясь все громче и громче, гремела музыка, похожая на ту, которая с вечера до поздней ночи наполняла стены деревенского клуба. Он притащил его в беседку, поставил на

стол и врубил на всю катушку. Одна за другой подтянулись бабы, выкладывая на стол кто кастрюлю, кто кузовок. Николай Седой из-под полы своего пиджака-балахона выставил посреде стола четверть самогона, чистого как слеза, но с плавающими в нем наверху свежими угольями...

— Николай Афанасьич! — оглядываясь по сторонам, боязливо, приглушенным голосом окликнул его Василий. — Ты бы это, — показал он на стеклянную посудину, — поосторожней с этим, давай-ка пока спрячем в крапиву...

— А чего такого? — пожал плечами Седой.

— Пока ничего, но всякое может быть, — начал пояснять Василий. — У нас же новый участковый Валерий Павлович. Говорят, что мужик жуть как строг — спуска, мол, никакого никому не дает, а о поблажке какой и думать забудь.

— Ну, если так, то тут и слов нет — прятать, да и подальше надо, — согласился Седой. — Молодые менты — они как мухи осенние, так и норвят кого бы нибудь укусить... Отца родного готовы в каталажку запереть или протокол составить да штрафом огреть. Молодые — оно и понятно! Им в эту пору галочки в послужных книгах поважнее, чем мы с тобой. Чем больше их, тем в званиях и должностях выше. Если этот — как его? — Валерий Павлович молод да уже в участковых ходит, значит, горче перца всякого. Так я мерекаю... Беги, прячь подальше! Нет, погоди! Давай сначала мужиков подбодрим...

Николай Седой негромко свистнул соловьем и жестом немо позвал мужиков.

Посадили картошку быстро — участок у Василия по сравнению с другими совсем крохотный. У Натальи Архиповны и то больше вспахалось. Бригадир сразу отвел лошадь на конюшню, распряг и выпустил в общий табун, пасущийся денно и ночью в загоне, и вернулся к Василию в беседку. Там уже все, не дожидаясь его, по разу-другому крякнули за окончание работ, выпили и за хозяина, пожелали ему невесты хозяйственной да строгой, чтобы его в ежовых рукавицах держала, глядишь, мол, и коленца разные выкидывать не будет. Игнаха — тот что-то осоловел быстро, напропалую по-

шел: а мы что, сватами, что ли, быть не в силах? Да мы ему сейчас здесь найдем! А потом вцепился обеими руками в Светку-почтальонку и к Василию силком рядышком усадил. Та кричит, вырывается, но Игнаха — мужик цепкий, жилистый — не выпускает:

— Вот чем плоха девка? Давай сосватаем!

— Да отпусти ты ее! — с платком в руках набросилась на него жена. — Пристал тоже! Сами разберутся! Сват тоже нашелся! Тут же, — хлопнула она его платком по спине, — особый подход нужен. А ты что как топором в лесу со всего размаху рубишь!

Лидия вызволила почтальонку из рук мужа, но за стол садиться не стали:

— А что, бабы, в клубе не бываем — нам всегда недосуги, давайте хоть здесь потанцуем! — звонко крикнула она. — Веселитесь, бабоньки! Чай, праздник у нас! Вон бригадир сказывал, в других-то деревнях все еще садят, стараются. А у нас уже все ай-люли, расти, картошечка!

Племянник Настасьи Прокопьевны, когда все сидели за столом, убавил громкость магнитофона, а то было и соседа по застолью трудно понять, о чем он речь ведет, да после таких слов Лидии оживился, подскочил к магнитофону, и голоса уже изрядно захмелевших и наперебой споривших о чем-то друг с другом мужиков утонули в грохоте музыки.

Игнаха, сидевший теперь уже за столом с краю, перестал вникать в мужские пересуды — все равно понимал через слово, сначала сидел и приплясывал на месте, бросая взгляды то на мужиков, то на трясущихся в кругу баб, а потом не удержался — крикнул озорно и с задранными вверх руками бросился в танцующую толпу. Бабы с визгом и хохотом расступились, освободили ему место. Но он бесом крутился туда-сюда, прыгал и трясся то перед одной, то перед другой, то вовсе оказывался в самом центре круга... То в два прыжка оказывался подле стола, быстро пробежал глазами по столешнице, хватал первую попавшую стопку и, запрокинув голову, махом ее опрокидывал и тут же терялся в толпе. Мужики кто с хитрецей и улыбками, кто с откровенной завистью сычками глазели на него: ноги у Игнахи будто на пружинах! А он, видя одобряющие взгляды,

крутился как заводной, махал руками, приглашая мужиков-зрителей к себе и показывая на баб — вот, мол, я какой, будто в малиннике живу. Они выпили еще и один за одним вышли из-за стола, присоединились к танцующим. Даже Николай Седой за компанию вышел в круг и неуклюже затрясся всем корпусом. Круг сузился, места в беседке не хватало. Василий с обеспокоенным видом хозяина в два счета смахнул все со стола, перенес на улицу, а потом позвал развеселившегося и скачущего в самом центре круга городского гостя и вместе с ним вытащил туда и стол. Наспех сбита беседка заходила ходуном. Разопревшие мужики нет-нет да и выскакивали на улицу, прикладывались к рюмочке, толпою курили, за ними горохом высыпали и бабы. Но те от самогона и водки носы уже воротили — коров еще вечером доить надо, а Верке еще и магазин открывать — хлеб вчера весь распродать не смогла, мыши еще ненароком заведутся!

Гуляли долго, расходиться стали, когда солнце уже в другую сторону перевалило. Мужики все своим ходом по домам разбрелись, и только Игнаха так усккался, что вышел из беседки, перекурил и рухнул наземь мешком с трухой.

— Мужики, не трожьте его! — предупредила всех Лидия. — Я мигом за тележкой сбегаю!

Она обернулась в два счета — мужики и перекурить не успели. Они помогли ей положить Игнаху, вывезли его на дорогу, и тележка закричала колесами. Лидия везла мужа, осторожно огибая колеи и выбоины. А у него только ноги покачивались и чертили по земле. В избу она завела его сама — растрясла, плесканув ковшиком холодной колодезной воды. Он помычал, захлопал глазами, потом спустился с тележки и на карачках уполз в дом.

Последним уходил племянник Настасьи Прокопьевны. Василий уже тоже пошатывался. Он пошарил глазами по сторонам — помнил, что где-то должна быть непочатая бутылка водки, и углядел ее в углу беседки.

— Будешь? — Василий поставил ее на стол. — Самогона нет — весь, видать, выпили. Седой и бутылку уже унес... А вот, — постучал он пальцем по стеклу, — осталась, голубушка! Уперлось,

видать, мужикам... Налить? А то пошли к столу.

Вадим ответил почти не раздумывая:

— Нет, не буду! Наверное, и так выше крыши саданул! Головы завтра не поднять...

Василий сморщил нос и замер в нерешительности, а потом вдруг твердо заявил то ли гостю, то ли себе:

— Тогда и я не буду! Спать сейчас завалюсь, завтра с утра на работу надо — бревна катать: бери толще — толкай дальше!

Вадим взял магнитофон, протянул хозяину руку на прощание, но Василий ладонь свою правую даже за спину спрятал, а левой погрозил своему гостю и едва понятно проговорил:

— Обожди! Прощаться не будем! Я с тобой, мне в магазин к Верке сходить надо... Бутылку верну, а то она толь глаза мозолить будет. Да и не хорошо как-то перед ней — она же трезвая почти ушла...

Они не спеша побрели по дороге. Около дома Настасьи Прокопьевны, прежде чем отвернуть к калитке, Вадим остановился и вновь протянул руку.

— А вот теперь — другой коленкор! — проговорил Василий и крепко пожал ему ладонь. — Тетку не забывай!

— Слушай! — пожимая руку Василию, оживился вдруг Вадим. — Я человек городской — всех ваших премудростей огородных, деревенских не знаю. А картошку у вас тоже все вместе копают?

Василий закивал головой:

— А как иначе? Так же!

— И когда примерно?

— Че, приехать хочешь? Понравилось, что ли?..

— Подумаю. Как время будет... Может, на выходные — в те дни побываю...

— А ты у тетки узнавай — она сообщит. Или даже еще лучше — пусть она Николаю Седому накажет, чтобы тебе, когда надо будет, брякнул... Эх, — прищелкнул он языком, зажмурил глаза и расплылся в улыбке, — свежую картошку да на костре испечь — вкуснятина! Пальчики оближешь! А аромат!.. — заводил он головой из стороны в сторону. — Приезжай! Без вина от него пьян будешь.

Вадим в ответ одобрительно кивнул, а Васи-

лий неуверенным шагом закачался по дороге. Он шел в магазин. Лицо его озаряла добродушная улыбка. Василий готов был песни петь — картошку в деревне посадили!

Дрова кололи

На закате зимы, когда и морозы уже обессилели и только по ночам еще свою былую ярость показывали, дни становились долгими, в деревне стукоток с утра и до вечера. Дрова мужики колют — они в эту пору ревностно относятся друг к дружке, соперничают. Всяк из них хочет соседа своего обставить, पहले колунуном отмахаться и с работой этой до зимы будущей развязаться.

Игнаха на эту зиму сам со старшим зятем Виталием дрова в делянке заготовлял: они почти одних берез накувыркали, домой на трелевочнике таском приволокли. А через день-другой Николаю Седому тоже дров подбросили — он их в лесопункте заказывал. Но то ли у лесников делянка попалась такая, то ли Седой с деньгами зажался — привезли ему один осинник, а по кубатуре не меньше чем у Игнахи будет. Распилили ноздря в ноздю — и начинали, и закончили день в день, хотя уговора меж ними никакого не было. Только пилы у них на всю деревню верещали да сами пильщики время от времени друг на дружку поглядывали, смотрели, кто больше испилил. Теперь вот за колунуны взялись, дятлами по чуракам бьют да поленья свежие в кучу бросают. Выйдут на улицу, молча поприветствуют друг друга высоко поднятыми колунунами, и пошла работа — только пар столбом от обоих! И недалеко один от другого — всего-то через дом, а чураются, не сходятся на перекуры — тары-бары им разводить не о чем, общего языка не находят, да и торопятся. Бригадир каждое утро мимо их проходит, подбадривает: машите, мол, машите колунунами, да почаще и посильнее!

Они и рады стараться, ломают что мочи есть, на перекурах не засиживаются и ни с кем в беседы долгие не вступают. Чураков неколотых все меньше и меньше у них остается — вот-вот

кто-то колун, будто вождь индейский, победно поверх головы взметнет и на всю улицу свистнет соседу соловьем-разбойником. Как ни силился, ни старался Седой в хвосте Игнаху оставить, тот его перещеголял — первым все дрова разбухал и даже щепочки за собой прибрал все до одной: вот, мол, как работать надо. Седому он на зависть и колунуном помахал, и шапкой — привет, дескать, отстающему колхозу! А сам во все глаза по сторонам косит: не проходит ли кто по деревне? Так уж ему хотелось, чтобы увидели, заметили его, усталого, но ликующего победителя. Игнаха чувствовал себя сейчас боксером на ринге, выигравшим решающую схватку — не хватало только рефери, который бы взял его за руку, вывел на середину дороги и на виду у всех объявил: вот он, сильнейший!

На улице было пустынно. Бабы, протянувшиеся за хлебом, в магазине у Верки застряли, соскучились, видно, за ночь — языками трепали. Игнат обескуражен — никто и не увидел, как он лихо с дровами Седого обскакал и далеко позади оставил, забросил колун на плечо и лениво, тяжело побрел к дому, но перед самым крыльцом остановился. По дороге размашистой походкой выходил из прогона Геннадий Прокопьевич и направился вдоль деревни. Игнаха, не снимая с плеча колунуна, развернулся у крыльца и нога за ногу направился навстречу.

— Никак, Игнатий, дрова доканал? — протягивая руку, поинтересовался Геннадий Прокопьевич.

— Все! У меня теперь зимние заботы с плеч долой, колун — на летний заслуженный отдых! Быстро нынче все расколошматил. А у Седого чегой-то через пень-колоду получается, тихо больно. Ведь на день или, может, на два раньше меня начал, а все еще канителится...

— А ведь ты, — загадочно заговорил Геннадий Прокопьевич, — промашку с дровами дал! Так не делают — жары потом от них будет как от нашего козла молока...

— Наговоришь мне... Что это за промашка? — Игнаха сбросил колун с плеча и приставил к ноге. — Расколоты мелко — тут у меня комар носа не подточит... И распилены строго по мерке.

— На завершение надо было меня позвать — я бы со своей тальянкой нагрянул. Стол бы на последнем чураке накрыли. Я бы тебе по такому поводу концерт отбацал, магазин бы, да и дома сразу бы опустели — все бы сюда сбежались. Частушек бы про тебя, дровосека, разных навывозил... Словом, маху ты дал! Да и большого... А сейчас уж чего — паровоз ушел! Молодец, что доколот! До пахоты теперь на печке лежи и в потолок поплеывай!

Геннадий Прокопьевич, будто спешил куда-то, наспех расстался с Игнахой:

— Ладно, беги отдыхай! А я к Седому еще забегу — критику на него напущу! Что, мол, от соседа отстает... Да и февраль скоро — запуржит, заметелит — разгребайся, ройся тогда в сугробах.

— Привет, Николай! — громко заявил о себе еще с дороги Геннадий Прокопьевич. — Что-то ты от соседа поотстал — он уже все, отлучался — колун пошел прятать до зимы будущей. Он говорит, ты и начал раньше, а все еще руки о топорище мозолишь! Здоровье, что ли, хромает?

— Слушай ты его! Трепло! Врет как сивый мерин! Это он на пару дней раньше за топор взялся! А здоровье? Да ничего! — Седой трижды плюнул через левое плечо. — Бог пасет, не жалуюсь. Да вот последние пять чураков какие-то

неподатливые, стучу-колочу по ним, а все как по камню — даже искры по сторонам разлетаются. Комлевые...

— Ну-ка, ну-ка! Дай-ка посмотрю! — Геннадий Прокопьевич присел на корточки и установился на кряж, который только что перестал дубасить колуном Седой. — Дрова нынче привозил? — спросил он хозяина. — И какие?

— Как какие? Свежие. Сплошной осинник. Осиновые горят лучше, да и разделявать легче намного... Да и по цене выгода — куда с добром!

— Сплошная осина? — переспросил гармонист и, получив утвердительный ответ, поднялся сразу же на ноги. — Долго же ты их долбить будешь! Они и в самом деле комлевые, только почему-то березовые...

Седой глянул кругом — точно березовые, и следы полозьев! И как он их сразу не заметил. Потом он резко повернул голову в сторону дома Игнахи. Тот стоял и наблюдал издали за мужиками, но тут же быстро юркнул за двери...



Алексей Александрович АКИШИН

родился в 1952 году в дер. Паратенки (Костромская обл.).

Окончил факультет журналистики

Московского полиграфического института.

Около 40 лет работал в районной печати.

Автор двух книг прозы — «Вася-Нептун» (1995),

«На цветущем лугу» (1999).

Печатался в журналах «Охотник» (Москва),

«Губернский дом» (Кострома), «Первоцвет» (Иркутск) и др.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Член Союза писателей России.

Живет в селе Павино Костромской области.

